**Леонид Аронович Жуховицкий**

*Вторая беседа*

Запись Н.Н. Бонч-Осмоловской

Дата ?

**№ 1651**

Ж: …и сложности, отсидел на гауптвахте за свое упрямство сто пятьдесят часов. Или даже сто пятьдесят суток, я уж не помню, но, в общем, такая вещь. А человек был талантливый и очень хороший просто. И еще вот из тех, кто сейчас известен, со мной на одном курсе учился Фазиль Искандер. Он старше меня то ли на три, то ли на четыре года, но мы с ним дружили, долго и тесно дружили, и дружим до сих пор. Еще с нами учился прозаик, ленинградский, Борис Никульский. Это был умный, очень трудолюбивый и очень старательный молодой человек. Потом он стал, если я не ошибаюсь, редактором журнала «Аврора», питерского, и потом он был главным редактором журнала «Нева». И при нем журнал «Нева» печатал замечательные вещи. В частности, он, с большим трудом пробив многоступенчатую цензуру, напечатал роман Дудинцева «Белые одежды».

Я был на курсе самым младшим, но моим ровесником, старшим, по-моему, на несколько месяцев, был еще осетинский поэт Жора Гагиев(?). И еще с нами учился из тех, кто до сих пор жив, такой хороший поэт, хороший прозаик Кирилл Ковальджи. Он много лет работал в «Юности», заведовал отделом поэзии, и многие известные нынче поэты средних лет называют его своим учителем. Самым талантливым поэтом на нашем курсе считался тогда парень из Твери Саша Гевелинг. Он действительно был уже тогда очень ярким поэтом. Но, к сожалению, его лучшие молодые стихи не печатались. Он был такой, очень своеобразный лирик, идущий где-то от Есенина, хотя тогда Есенин почти не публиковался, но что-то близкое у них было. Потом, после института, он уехал в Тверь, к сожалению, стал меньше писать, меньше печататься, хотя до сих пор в Твери его очень хорошо знают. Но, понимаете, вот эта беда нашей литературы, что получить какое-то устойчивое имя можно практически только в Москве, иногда в Питере. Хотя вот эти два течения литературы – московское и питерское – они как-то идут обособленно, и со стороны питерских поэтов и прозаиков существует определенное, в чем-то оправданное, недоброжелательство к москвичам, просто потому что в Москве много литературных журналов, в Москве распределяются, там, всякие премии и так далее, и так далее. И целый ряд талантливых питерских прозаиков и поэтов из-за этого не получали широкой огласки, но в этом был и некий плюс, потому что, скажем, целый ряд одаренных молодых поэтов в Питере ориентировался на поэзию серебряного века, прежде всего на Анну Ахматову. И вот у Анны Андреевны был такой целый круг молодых поэтов, из которых вышел, в частности, Бродский, один из самых крупных поэтов. Условно можно сказать, он тоже был шестидесятник, хотя своеобразный шестидесятник. Он в России практически не печатался, и достоверно я знаю, что только одна его строчка была напечатана…

Б-О: …Евгений Рейн прекрасный поэт.

Ж: Замечательный поэт, но он тоже тогда практически не печатался. А у Бродского был напечатана одна строчка: «Вы напишете о нас наискосок». Эту строчку Ахматова взяла эпиграфом к какому-то своему стихотворению, и там не было подписано, что это стихи Бродского, было, насколько я помню, подписано просто И.Б. Евгений Рейн тоже стал известен значительно позже…

Б-О: … Когда уехал в Москву.

Ж: Да, когда уехал в Москву. И он даже получил Государственную премию, но, на мой взгляд, он известен до сих пор гораздо меньше, чем он заслуживает, потому что это, бесспорно, крупный поэт. Кто у нас еще учился на курсе?

Я лучше помню тех, кто учился на семинаре Коваленкова. Там учились прекрасные поэты, скажем, Константин Ваншенкин, вот он недавно умер. Это один из последних поэтов-фронтовиков. Вообще это поколение, к сожалению, уходит. И я понимаю, как мне и моим сверстникам повезло в литинституте, что мы учились одновременно с фронтовиками. У нас был совершенно разный жизненный опыт. И, скажем, ну допустим, мои представления о войне, ну, складывались откуда? Откуда – из книг, из лозунгов, из кинофильмов.

И я вот помню такой случай, когда у нас обсуждали на каком-то семинаре по советской литературе «Василия Теркина» Твардовского, и я сдуру стал упрекать Александра Трифоновича за то, что он там не отразил роль партии. И потом в коридоре Литинститута парень-фронтовик, Николай Старшинов, с которым я потом дружил много лет вплоть до его смерти (это был поэт, талантливый по-настоящему, воспитавший много молодых поэтов, потому что долгое время он был главным редактором какого-то поэтического альманаха в издательстве «Молодая гвардия»), он был очень деликатный человек, он мне так негромко сказал: «Ты знаешь, Лёня, ведь на войне, ну, было не так, как об этом, там, в фильме снимают. И в атаку, когда шли в атаку, не кричали: «За Родину, за Сталина!», а просто орали матом, как орут во время нормальной драки». И у него были прекрасные строчки о войне, скажем, он писал о людях, которые не говорили о России, но умирали за нее. Вот это то, что я понял уже много лет спустя и благодаря вот моим друзьям и товарищам фронтовикам.

Я помню у нас на курсе старостой, на первом курсе, был такой Володя Степаненко. Он был тоже примерно в два раза старше меня, он на фронте, он работал в какой-то там армейской или фронтовой газете, работал фотографом. И он всю войну летал, там, на самолетах, чтобы там что-то снимать. И то, что он рассказывал, он был очень добродушный человек, это было очень интересно. Например, он ни разу не был ранен. Я его спрашивал: «Володя, ну как же ты выжил все-таки, ты же столько летал? Самолеты же сбивали». Он говорит: «А ты знаешь, я, когда прилетал в лётную часть, я никогда не летал, скажем, с командиром эскадрильи и с командиром полка. Я всегда летал с тем летчиком, который каждый день уходит на задание.» Это мудрая вещь. Я помню, знакомая женщина, которая была врачом, и работала она в клинике академика Петровского, она мне сказала: «Если мне когда-нибудь придется лечь на операционный стол, я никогда не доверю оперировать себя академикам, потому что они оперируют раз в месяц либо когда попадает какой-то очень важный пациент, который думает, что вот раз академик, он лучше всех оперирует». Она говорит: «Я себя или своих родственников могу доверить только хирургу, у которого три-четыре операции в неделю. У них рука уже так набита, так поставлена». И вот Володя Степаненко, фронтовой фотограф, он примерно таким же вот методом сохранил свою жизнь и не получил даже ни одной раны.

Или еще он рассказывал очень интересную вещь, опять-таки далекую от военных очерков и от военных фильмов. Он рассказывал, как однажды какой-то летчик, Герой Советского Союза, получил отпуск на десять дней для того, чтобы полететь в родную деревню. И Володе поручили сделать фоторепортаж о том, как герой приезжает на родину. Вот они … в эту деревню. Этого летчика-героя тут же стали таскать по всем официальным мероприятиям, он должен был там выступать на собрании, выступать в школе, ну и так далее. А Володя просто попал в “малинник”: было огромное количество женщин и девушек, которые просто озверели от отсутствия мужского внимания. И он рассказывал, что его буквально в течение дня заманивали, там, в три хаты. Я ему говорю: «Слушай, Володя, так у тебя что, а вдруг там дети какие-то твои остались?» Он говорит: «Да, наверное, до сих пор какие-то бегают». Он даже не знал этого. Ну, отработали там десять дней, сделал фоторепортаж, и снова в свою часть. Вот такие вот были вещи. И вот эти фронтовики, они вообще отличались, кроме знания жизни, они еще отличались человеческой смелостью.

Я помню, когда я первый раз попал на открытое партийное собрание. Ну для меня все руководители института – это было нечто святое, ну как это, там, директор, декан, там, секретарь парткома – непогрешимые люди. И вдруг вот эти студенты-фронтовики начинают нести их по кочкам, совершенно не соблюдая никакого политеса, то есть ребята говорили то, что думали. Потому что вот эти люди, пришедшие с фронта, у них, конечно, был очень низкий порог страха. Не то чтобы они всё вообще понимали, но они очень многого не боялись.

И вот на творческом семинаре, куда я попал, я был самым младшим, вторым был Фазиль Искандер, который старше меня был на три, на четыре года.

Б-О: А вместе были прозаики и поэты, да?

Ж: Нет, только поэты, поэтический семинар, что на мой взгляд не слишком правильно. И когда я потом сам уже вел семинары, не в Литинституте, а там были разного рода какие-то литобъединения, и сейчас вот я читаю лекции по творчеству в международном университете, я не делаю различия между поэтами, прозаиками, публицистами и драматургами, потому что я понимаю, что крупный писатель не может не быть универсалом. Ну, скажем, Пушкин, да, это гениальный поэт, но он и основатель русской классической прозы, и он автор лучшей русской пьесы всех времен «Борис Годунов», и он же замечательный литературный критик, и он же великолепный редактор, создатель журнала «Современник». Лермонтов, который не дожил до двадцати семи лет, написал гениальные стихи, нрзб. лучший русский роман «Герой нашего времени» и пьесу «Маскарад», которая идет до сих пор. Я уж не говорю, что у него и сказки, там, есть, «Ашик-Кериб», например. Горький был абсолютно универсален: потрясающий прозаик, замечательные стихи, в том числе «Девушка и смерть», потрясающая абсолютно критика, публицистика. Он же автор вот этой книжки «Несвоевременные мысли», это одна из лучших книг о революции, одна из самых правдивых. Письма Горького – это вообще фантастика была по глубине. Но у нас у каждого был свой загон – поэты отдельно, прозаики отдельно. И вот я занимался там рядом с такими поэтами, как Костя Ваншенкин, как Володя Солоухин, который тогда писал стихи и считался одним из лучших поэтов Литинститута, потом что-то у него с поэзией не сложилось, он стал писать в основном очерковую прозу. Еще с нами училась Юля Друнина.

Б-О: Тоже ведь фронтовичка, да?

Ж: Тоже фронтовичка. В восемнадцать лет она выпустила книжку о войне. Это была удивительная книжка, лучше она с тех пор ничего не написала, потому что это были ее собственные переживания, правдивые и неожиданно откровенные. Ну, скажем, вот это блестящее четверостишие «Я только раз бывала в рукопашной. / Раз наяву. И тысячу – во сне. / Кто говорит, что на войне не страшно, / тот ничего не знает о войне». Это тоже было для меня какое-то откровение. И она была очень хорошим человеком. И я понимаю, как мне колоссально повезло, что я вот с тех пор дружил не только со своими ровесниками, с которыми мне тоже очень повезло, но дружил и со старшими. И вот я эту правду о войне и о жизни получал просто из рук в руки от старших товарищей.

Еще с нами, например, был такой поэт-фронтовик, он потом и прозу писал, Василий Субботин. Слава богу, он еще жив, хотя ему девяносто один год, болеет очень. Вася Субботин был участником штурма Рейхстага. И правду об этом штурме написал именно он. Он очень честно про все это написал.

Б-О: В стихах?

Ж: Частично в стихах, но больше в воспоминаниях, в документальной прозе. Дело в том, что тогда был такой публицистический штамп, во всех кинофильмах это повторялось, что флаг над Рейхстагом водрузили…

Б-О: … Егоров и Кантария.

Ж: Егоров и Кантария. Но Вася знал, что это ерунда, что ни Кантария, ни Егорова там не было, ну, то есть их прислали потом.

Б-О: Как же этот миф возник тогда?

Ж: Вот я сейчас расскажу, как возник этот миф. Дело в том, что Рейхстаг штурмовало много разных подразделений, и у каждого был какой-то флаг, там, или флажок. И вот когда люди врывались в Рейхстаг, то на крыше каждый втыкал свой флаг или флажок. Но когда Рейхстаг был взят, когда все это уже закончилось, и пожар там на Рейхстаге тоже закончился, в каком-то старшем подразделении – дивизии, по-моему, или армии – подумали, что надо водрузить…

Б-О: …торжественно.

Ж: …Торжественный флаг, ну, и флаг, старший по чину. И вот послали туда Егорова и Кантарию, и дали им какой-то флаг, по-моему, дивизии… армии… Я не помню. А штурмовал Рейхстаг батальон капитана Неустроева. И вот их привели к Неустроеву, он позвал каких-то своих разведчиков, говорит: «Ну, вот проводите ребят на крышу». И разведчики батальона Неустроева повели этих двоих на крышу уже взятого Рейхстага. И они воткнули уже этот флаг, когда уже никаких там боев не было, ничего, и какой-то из военных фотографов их сфотографировал. И только год спустя после этого штурма уже начали создаваться легенды. И эти два человека очень подходили на роль вот этих легендарных витязей, тем более, что один был русский, а другой – грузин, еще хотели Сталину сделать что-то приятное. Это не значит, что они не заслуживали славы, нет. Они были фронтовики, они достойно воевали, они заслуживали славы, но когда, у нас так в те времена было принято, когда, скажем – это надолго сохранилась такая традиция, - когда брался какой-то один человек и ему доставалась вся слава. При Хрущеве, скажем, в сельском хозяйстве таких называли «маяками». Ну, там я уже…

Б-О: Ну да, там Стаханов, Мересьев…

Ж: Дело в том, что Стаханов был раньше, и там тоже известно, что когда он свой подвиг трудовой совершил, на него работала целая бригада. И впоследствии, например, я помню даже, меня посылали в качестве журналиста в Омск, чтобы написать о героине-свинарке. Такая была молодая девушка Татьяна Перешивко, нормальная хорошая свинарка. Но там было так, сперва, по-моему, на Украине был какой-то Чиж, который один вырастил 300 поросят. Тогда в другой области нашли какую-то женщину – 400 поросят, и вот пошло больше-больше-больше, и когда дошло до Омской области, то Татьяна Перешивко вырастила уже 15 тысяч свиней.

Но когда я приехал, я спрашиваю: «Ну как она одна-то могла это сделать?» - «Она одна с пятнадцатью помощниками». Но эти пятнадцать помощников – что значит пятнадцать помощников? Значит работало шестнадцать человек, да им еще помогала куча людей, потому что кто-то корма заготавливал, потом кто-то их подвозил, кто-то там навоз вывозил – ну, в общем, короче говоря, большой коллектив людей. Но выдвинули одну эту девушку, ни в чем не повинную, естественно, на которую направили все прожектора – вот уникальная героиня. А для чего такие героини были нужны? Потому что секретарь обкома, который вырастил в своем коллективе такую героиню, заслуживал того, чтобы его взяли в Москву в ЦК. И вот эту проблему «маяков»… Я тогда просто подрабатывал в журнале «Крестьянка», потому что работы не было, и меня без конца посылали на такие вот «геройские» мероприятия, и когда я приезжал, то очень порядочные люди, руководители журнала, сидели и думали: «Ну что же нам делать с этими «маяками»? Ну понятно, что это «липа», но из ЦК требуют, надо отражать эти трудовые подвиги. Почему-то считалось, что если раструбить, что одна девушка вырастила 15 тысяч свиней, что абсолютно невозможно, то, бог даст, все другие девушки тоже захотят вырастить 15 тысяч свиней, что, естественно…

Б-О: Ну, а когда вы писали, вы как себя чувствовали? Что надо было это всё описывать?

Ж: А я не написал. Я не писал, я приезжал, рассказывал: вот так и так. «Ну ладно, не надо, не пиши». Ну, до этого мы еще дойдем. Это уж когда я потом объехал всю страну в качестве корреспондента разных, там, изданий, я много чего повидал. Но поскольку, опять, я был молодой тогда, я был комсомолец, и руководители редакции, ну, стеснялись врать мне в глаза, они не могли сказать: «Ну ладно, соври», и, как правило, говорили: «Ну ладно, бог с ним». Ну там было, про кого писать, было много замечательных действительно людей, но вся эта «липа», она ведь, как правило, закрывала, ну, настоящих замечательных людей.

Ведь известно, например, что (про это уже потом довольно много писали), что вот под Можайском, в этой деревне, повесили не Зою Космодемьянскую, а какую-то девушку из Ярославля по имени Таня. Хотя Зоя, бесспорно, героиня, но вот эта Таня, которая была с ней в отряде, ее просто не вспоминают, она забыта. Или известно, что, вот какой-то краевед докопался, что Александр Матросов на самом деле был не Александр, и не Матросов. Это был башкирский мальчишка, которого звали Шакирьян, по фамилии, если я не ошибаюсь, Махумедьяров. Но он был беспризорник, он попал в детдом, где его стали называть Шуриком. Почему? Я писал про эту историю - просто потому что, несмотря на всю дружбу народов, Шурику жилось лучше, чем Шакирьяну. А почему Матросов? Потому что он ходил в тельняшке.

Б-О: Но это действительно кто-то докопался? Или это тоже миф?

Ж: Нет, это докопался какой-то там башкирский краевед, и там документы остались. Потому что в шестнадцать лет этого пацана просто отправили в колонию, он два года просидел. За что? За нарушение паспортного режима. Он в каком-то там городе оказался после детдома, и он, по-моему, только три дня там имел право быть без прописки, а он там чуть ли не неделю прожил. Короче, его отловили и отправили на зону искупать свою вину перед товарищем Сталиным. И после этого он попал на фронт, где-то буквально через два месяца он погиб на фронте. И я как раз тогда думал: ну почему же Александр, и Матросов? Что было удивляться? А кто стоял во главе страны? Сосо Джугашвили. Ему лучше было быть даже не Иосифом Сталиным, а просто «товарищ Сталин». Вот так вот тогда было. И этот мальчишка тоже под именем Александра Матросова погиб. Таких случаев было достаточно много, вот. Но, короче говоря, вот мне и моим ровесникам повезло, что мы эту правду о войне и вообще о жизни вот получали просто из рук в руки от наших старших товарищей.

Б-О: А вам с Юлией Друниной приходилось общаться?

Ж: Конечно, много общался.

Б-О: Расскажите о ней, а то мало очень каких-то воспоминаний. Сейчас модны мемуары, но о ней мало очень пишут, в основном, вот это, конец ее жизни, вот такой печальный, обмусоливают со всех сторон…

Ж: Ну конец печальный, я про это хорошо знаю, да.

Б-О: А так про ее жизнь мало кому известно.

Ж: Юлия Друнина была, во-первых, красавицей. Когда я попал Литинститут, мне было семнадцать лет, а Юле было двадцать пять или двадцать шесть. Это была очень красивая, очень мягкая в общении и очень добрая женщина. И она очень хорошо ко мне относилась, это я помню. И я страдал оттого, что в Литинституте не было практически никакого спорта. Она занималась тогда конным спортом, она пыталась и меня туда каким-то образом пристроить. Но там по разным привходящим причинам это не вышло. И мы с ней потом много лет, ну, я не решаюсь сказать дружили, хотя практически это было что-то вроде дружбы. И когда они были, она была замужем за Колей Старшиновым, и потом они разошлись, Коля переживал это очень тяжело. Она влюбилась в Каплера. И они долго с Каплером жили вместе, это была очень трогательная пара…

Б-О: … Я их помню в Коктебеле, как они за ручку проходили мимо с такими маленькими рюкзачками и шли на могилу Волошина. И все лежали на пляже и ждали этого момента, когда они появятся.

Ж: Не только на могилу Волошина. Они пешком ходили в Старый Крым, это около двадцати километров. И когда Каплер умер, Юля похоронила его в Крыму. Я помню, когда я после этого попал в Старый Крым, я увидел там могилу Каплера, и был такой, по-моему, черный, камень, где было написано имя-отчество Каплера, годы жизни такие-то-такие-то, и рядом оставлено место для еще одной надписи, для Юли. И, насколько я знаю, Юля там и похоронена, в Старом Крыму. А когда Юля купила машину, я уже к этому времени водил машину, а она, ну, там, плохо умела тормозить, задний ход и так далее, она просила меня ей помочь. Я ей помогал, вот.

И еще помню один случай, связанный с Юлей, который в какой-то степени объясняет вот это ее самоубийство. Она мне как-то сказала, что ей прислали из газеты «Правда» письмо, практически донос на нее, что она такая-сякая, там, антипартийная, антисоветская. И подписано было «Владимир Григорьев, рабочий». Письмо было отстукано на машинке.

Б-О: То есть не анонимное?

Ж: Вот сейчас расскажу. А она узнала эту машинку, потому что у каждой машинки есть, там, свои западающие буквы и так далее.

Б-О: И чем она была так уж неугодна? Фронтовичка вообще, прекрасные стихи, не диссидентка?

Ж: Да. Дело в том, что это уже были годы перестройки, когда пишущая братия разделилась на две части. С одной стороны были те, кого называли демократами, они и были демократами, те, кто не любил диктатуру, те, кто хотел, чтобы Россия стала свободной страной. А с другой стороны оказались люди, к которым я не объективен, для меня они подонки просто, это люди, которые считали, что надо сохранить в той или иной форме диктатуру, то есть они хотели, чтобы их *назначили* талантливыми писателями. Потому что они не выдерживали никакого соревнования с демократическими писателями. Скажем, ну кто мог по популярности соперничать с Евтушенко, или с Окуджавой, или с Высоцким, или с Галичем, или с Рождественским, или с Беллочкой Ахмадулиной, или с Римкой Казаковой? Никто. Но был целый ряд поэтов, которые без конца лизоблюдничали перед властью и которые добивались, там, премий каких-то, наград, квартир, загранкомандировок, и так далее, и так далее. И они делали вот эту свою житейскую карьеру на том, что они «разоблачали» талантливых писателей. Но это же было всегда. И даже в этом грязном судилище над Пастернаком виноват не только Хрущев и не только работники ЦК, но и достаточно бездарные литераторы, у которых вот эта Нобелевская премия Пастернаку была как бревно в глазу. Им было понятно, что если, например, лучшим поэтом России будет признан Пастернак, то им в литературе делать нечего. Вот все эти Софроновы, Грибачевы, Михалковы, Кочетовы, которые травили всё талантливое в литературе, вот они-то всё и устраивали.

И вот Юля Друнина, прочитав это письмо и поняв, кто настоящий автор, просто по машинке…

Б-О: …Это она вам рассказывала?

Ж: Да. Она позвонила автору, критику Владимиру Бушину, с которым она училась в Литинституте, по-моему, даже чуть ли не одном курсе.

Б-О: Что же он ей такое там написал? Что она, действительно…

Ж: Ну, стал ее упрекать, там, в антипатриотизме, в том, что она недостаточно партийна, ну, то, что… То, что всегда писали тогда. Она ему говорит: «Володя, что же ты пишешь такие вещи под псевдонимом?»

Б-О: Владимир Григорьев?

Ж: Да. А он Владимир Григорьевич Бушин. Он растерялся, а потом стал раздраженно говорить, что вот если б я подписался «Владимир Бушин, критик», это бы никто никогда не напечатал, это никто бы не принял всерьез. А вот «Владимир Григорьев, рабочий», вот рабочего приняли бы всерьез. Известно, что похожий случай был, когда…

Б-О: …Так он куда это письмо прислал?

Ж: В «Правду».

Б-О: Ах, в «Правду» написал?

Ж: Да!

Б-О: Открытое письмо это называется?

Ж: Нет, это был нормальный донос, в расчете на то, что там опубликуют. Там публиковали письма трудящихся, вот могли бы опубликовать, да.

Б-О: А она узнала об этом уже от сотрудников газеты …

Ж: Дело в том, что в редакциях-то тоже люди работали, и они знали, что такое Друнина, и они ее глубоко уважали. И они ей переслали это письмо, не стали печатать, они ей переслали: ну, дескать, хочешь – ответь, не хочешь – не отвечай.

И подобный случай был ведь с Андреем Вознесенским. Тогда тоже пришла подписная анонимка, то есть там подпись была какая-то. А эту анонимку писал, критик такой был, Кожинов, Вадим Кожинов. И тоже работники отдела литературы «Правды» переслали это письмо Вознесенскому. И сделали такую вещь: пошли к автору письма, там был адрес указан, он был член литературного объединения, которое вел Кожинов. И Андрей написал по этому поводу потом стихи, и там были такие строчки: «По следам пришли письма, / автор…(*что-то*) …дома ел сома./ Прочитал и удивился…» Да, а там было написано: «Поэт позорит СССР, / с ним художник Нессесер». Это, видимо, имелся в виду Боря Мессерер.

Б-О: Мессерер.

Ж: Вот. «Автор молча ел сома. /Прочитал и удивился: / Нессесер – а кто это? / Подписную анонимку писал критик Штопаный». А Штопаный – это было прозвище Кожинова. И эти стихи были напечатаны в той же самой «Правде», куда Кожинов послал свою анонимку. А почему он подписался фамилией вот этого реального человека, который занимался у него в литобъединении? Потому что, ну, в «Правде» был какой-то отдел проверки, ну проверят, есть ли такой человек реально? Есть. Ну, и Кожинов получил уникальную пощечину, значит, в качестве доносчика, пощечину на всю страну. К сожалению, так было принято. И вот эти, так называемые писатели-патриоты, они не брезговали доносами. Ну ладно, это я уж…

Б-О: Ну, о Друниной, о жизни Друниной, да, интересно.

Ж: Да. Друнина, на мой взгляд, она всю жизнь писала стихи, стихи профессиональные, стихи хорошие, но до такого уровня откровенности, ну как… какая была в ее фронтовой лирике, она уже не могла подняться, потому что эти годы были самыми яркими в ее жизни. И она до конца жизни практически осталась фронтовой поэтессой. И когда она о чем-то другом писала, все равно за ее спиной стоял вот этот фронт, все эти переживания фронтовой медсестры. И поскольку она была честным и независимым человеком, я помню, несколько раз потом, к разным юбилеям победы давали награды бывшим фронтовикам. И в частности, какую-то женщину, женщина была, наверное, хорошая, но она работала приемщицей танков, ей дали звание Героя Советского Союза. И меня тогда глубоко обидело: а почему не Юле Друниной? И я как-то Юле про это сказал, говорю: «Ну как вышло, почему вот не тебе дали звание Героя?» Она без всякой обиды сказала: «Знаешь, таким, как я нельзя доверить такое звание». Ну, это потому, что она была абсолютно независимым человеком.

Б-О: Ну, наверное, сильное влияние оказал на нее Каплер? После его смерти она уже просто не смогла адаптироваться.

Ж: После его смерти она вышла замуж за другого человека. Он был хороший человек, но это был не Каплер. И меня удивляло, как она, при всей своей деликатности и интеллигентности, резко пару раз разговаривала вот с этим своим новым мужем. Но я понимал, что каждого мужчину она сравнивала с Каплером, и никто сравнения не выдерживал. Каплер был небольшого роста, полноватый, но он был человек фантастического обаяния. И не случайно в него влюбилась дочка Сталина, и не случайно его вообще очень любили. Ну вот, он мог из-за платонического романа с женщинойт семь лет просидеть, все это было.

Б-О: Так вот Друнина вышла замуж, и?

Ж: Да, но все равно никто не смог заменить Каплера. Это была одна причина. О второй причине она написала в письме моему другу Володе Савельеву, она очень с ним дружила, и она перед смертью оставила ему письмо, где объясняла, ну, какие-то мотивы ухода из жизни. И на нее очень тяжелое впечатление произвело, произвел вот этот вот раскол литераторов на два лагеря, причем в том числе ряд литераторов, тоже прошедших войну, оказался среди противников демократии. И это Юля очень тяжело перенесла. Ну, вроде вот все слои. Но тогда это было так…

Б-О: … У них же была дочь со Старшиновым, наверное, были внуки.

Ж: Да. Дело в том, что она там написала, что это можно было перенести, если бы всё, ну, в смысле в порядке, было дома. Вот, дома тоже, у нее отношения с дочкой были тогда, ну, мягко говоря, не очень хорошие, и лучше гораздо были отношения с зятем. И она оставила записку зятю, где написала, что, вот, пожалуйста, приезжай к нам на дачу. На даче там тоже какая-то записка, и к гаражу тоже прикреплена записка: «Не бойся, я здесь». Ну и вот, когда он открыл этот гараж, он увидел, что она умерла от угарного газа. Вот, к сожалению… Ну, знаете, и те, кто знал Юлю, мы все очень тяжело это переживали, не только потому, что умерла, а потому что вот до сих пор ощущаем, как сильно ее не хватает.

Значит, когда мы создали вот эту организацию «Апрель», а потом Союз писателей Москвы, и думали там, кто может возглавить этот Союз, и вот думали, как так, как плохо, как горько, что нет Юли Друниной. Ну вот, оказалось, что тогда Женя Евтушенко был вынужден уехать в Америку, не то, что он сбежал откуда-то, нет, но просто – пятеро детей, и здесь не было практически никаких заработков. И он просто уехал в Америку, чтобы зарабатывать и кормить семью. А вот из таких популярных людей, к сожалению, рано умер Роберт Рождественский, который вполне бы для этого годился, умерла Юля Друнина. Ну, Союзом руководили хорошие люди, но чтобы было такое сочетание – талант, честность и общественное признание, таких людей мало, и ведь еще и при диктатуре, просто не хватало таких людей. Скажем, литературными журналами очень часто руководили люди, ну, скажем так, малоприличные, как их кто-то назвал точно, нерукопожатные, то есть люди, которым нельзя было руку подавать. А «Новым миром», сменяя друг друга, руководили два очень крупных писателя – Твардовский и Симонов, по очереди. Проштрафился – снимали Твардовского, назначали Симонова, снимали Симонова – назначали Твардовского.

Б-О: А вы Твардовского знали?

Ж: Лично – нет. Видел несколько раз, он приезжал, это было очень интересно, когда он приезжал в Литинститут, но не лекции читать. А у нас были такие, когда в актовом зале собирался весь Литинститут, и была встреча с крупными писателями. И вот был такой вечер, приехал Маршак. И вот сидит там Маршак за столом, и вот я вижу: вошел Твардовский и сел около двери, тихо, скромно, и слушал всю ту лекцию Маршака. Потом, когда Маршак выходил, он остановился около Твардовского, буквально на пару секунд. Твардовский встал, Маршак ему подал руку, он пожал руку, и Маршак вышел. И вот меня это поразило: ну, известность, Твардовский очень ценил Маршака, очень уважал, написал замечательную статью о его переводах Бёрнса. И, когда надо было, там, напечатать Солженицына, внутренние рецензии, и вообще, когда вот такие вот вещи очень трудно проходили, то он просил и внутренние рецензии писать, которые потом шли в ЦК, Маршака, Чуковского, справедливо полагая, что всякие там видные чиновники в ЦК могли не знать хороших поэтов и прозаиков, но детских знали все, потому что все росли на их стихах. Вот такая вот вещь была.

Б-О: Так. Мы от вашей жизни уклонились опять.

Ж: Да. Я учился в Литинституте, естественно, я был там отличником, потому что мне всё необычайно легко давалось. Там я перечитал всю ту классику, которую не успел перечитать в школе. И в Литинституте была замечательная библиотека, я брал какие-то книги там, которые иначе взять было просто негде – там была прекрасная библиотека. Ну, я помню одну какую-то деталь: я где-то слышал, что была такая книжка «Ленин о литературе», и я пришел в библиотеку и прошу: «Вот дайте мне такую книжку «Ленин о литературе». И мне библиотекарша говорит: «Мы ее не выдаем». Я говорю: «А почему?» Она так зло посмотрела и говорит: «Потому что не положено». Я тогда не понимал, в чем там дело. И только много лет спустя, когда наконец где-то я раздобыл первое издание этой книжки, которое было в литинституте, я понял, не случайно не выдавали. Потому что, скажем, вот этот очерк Горького о Ленине, который там был напечатан, литературный портрет Ленина…

Б-О: А почему «Ленин о литературе» - и очерк Горького?

Ж: Потому что там не только то, что Ленин непосредственно говорил, но и воспоминания современников.

Б-О: О нём.

Ж: И потом отредактировали этот очерк, он отдельно печатался, и он уже был, ну, такой, я бы сказал, среднеинтерсный. А там, например, было то, что говорил Ленин о Троцком. И что он говорил о Троцком? Он говорил: «О моих отношениях с Троцким говорят много глупостей. Я его глубоко уважаю, смотрите, как он организовал спецов». Ну, естественно, это нельзя было никому выдавать. И, видимо, там еще какие-то были вещи, я уж так сейчас не помню, потому что многое стерлось из памяти, там, первое издание, второе издание, вот. Я помню, один мой приятель, работавший в ЦК комсомола, он мне говорил, что – ну тогда был такой Водокаменный, комсомолец и уже член партии, хотя молодой был человек, он говорил: «Знаешь, у Ленина тоже ведь есть ошибки, тоже есть какая-то вина перед партией, нельзя всё печатать, что он там говорил и писал». Меня тогда поразило: ну как можно редактировать Ленина? Оказывается, можно. Ну вот такие вот вещи, потому что много редактировалось тогда под Сталина, переписывалась история. Я помню, меня удивляли стихи Маяковского, где была, например, такая строчка: «Эх, поставь меня часок на место, / Я б к весне декрет железный выковал». Я думаю: «Что за странность, Маяковский, изощренный мастер стиха, рифмует «место» и «выковал»?» Только потом я сообразил, еще до того, как это стали печатать, «Эх, поставь меня часок на место Рыкова». Рыков был председателем Совета народных комиссаров тогда. Нормально просто выкинули слово «Рыкова» - и всё. Точно так же, как Есенина редактировали, выкидывали из стихов Троцкого, Зиновьева, вот. Ну, что было, то было. Известно, что Есенин очень любил и уважал Троцкого, Сталин для него был никто. И Троцкий любил Есенина. Ну было так вот. Вот поэтому литература редактировалась еще и по этим деталям каким-то. Ну вот. Но тем не менее библиотека была прекрасная, я много хорошего там брал, в этой библиотеке Литинститута.

И я где-то до третьего курса писал стихи, иногда что-то немножечко печаталось. Помню, в «Смене» напечатали там на обложке мое стихотворение.

Б-О: Помните его?

Ж: Ой, немножко что-то помню, но лучше забыть. Потом в «Московском комсомольце» какое-то стихотворение напечатали. Любопытно, когда, там, через пару лет я познакомился и подружился с Евтушенко, оказалось, что и Евтушенко помнил эти стихи. Но почему это произошло? Потому что мы тогда жадно ловили в печати стихи наших крайне немногочисленных пробившихся ровесников. Тогда же молодых практически не печатали, издательств было мало, изданий тоже мало, газет и журналов литературных очень мало. Но как-то вот постепенно кто-то пробивался, и они сразу запоминались. А начиная, по-моему, с четвертого курса, я стал писать прозу. И вдруг я очень легко себя почувствовал в этом жанре. И стали печатать мою прозу как-то, и, в общем, с этим мне больше повезло, и я рад, что я вовремя ушел от поэзии. Потому что среди моих друзей были замечательные поэты, и потом на всю жизнь это были мои друзья. И я так писать не мог, чего-то не было. Это был Рождественский, Евтушенко, Володя Соколов – замечательный поэт, это Андрей Вознесенский, Толя Жигулин, ну Булат Окуджава – просто гениальный поэт. Но я рос, сам писал прозу, мои друзья ее читали и очень хорошо оценивали.

Б-О: А вы продолжали оставаться в семинаре…

Ж: В семинаре Коваленкова.

Б-О: Коваленкова.

Ж: Но диплом я защищал, у меня диплом состоял из двух частей – стихи и проза. Руководителем по прозе был Леонид Соболев, крупный писатель и замечательный стилист. Как о руководителе Союза писателей РСФСР о нем говорят разное – ну, слишком партийный был человек, но писатель-то он действительно был крупный, очень талантливый, «Капитальный ремонт» - это замечательная книжка. По стихам руководителем был Коваленков, но рецензентом, значит, был Михаил Светлов.

Б-О: Вы были с ним знакомы?

Ж: Ну, вот как с рецензентом был знаком. Это просто, знаете, это честь и радость: мои стихи рецензировал сам Светлов.

Б-О: Ну вы с ним встречались? В Литинституте, где-то вне института?

Ж: Нет, я не был у него в семинаре. И ребята, которые были у него в семинаре, рассказывали, там, всякие байки о нем. Очень талантливый был, вообще по жизни был очень талантливый человек. Но я не был с ним близок, ну, единственное, что где-то там раскланивался, так сказать, где-то встречаясь, вот. То есть я мог кланяться, но он как человек вежливый тоже мог кланяться в ответ. Но я еще был практически непьющим, что, естественно, уменьшало мои шансы как-то быть близким Светлову, потому что он очень часто пил. И мне Женя Евтушенко, который с ним был в очень хороших отношениях, он мне рассказывал, в частности, почему Светлов пил и почему все эти байки ходили о том, как Светлов пил. Потому что, когда в тридцать седьмом-тридцать восьмом году без конца сажали писателей, Светлова не посадили, и, как Светлов сам говорил: “Вот это вот водочка меня спасла, потому что, наверное, думали: «А, что брать этого алкаша – сам подохнет»”. Было интересно.

Еще одну вещь тоже, я про это даже написал в эссе о Евтушенко, потому что я не знаю, сам Женя про это где-то напишет или нет, я не хочу, чтобы это потерялось. Ему однажды Светлов сказал, как где-то, в тридцатом году, ему позвонил Маяковский и позвал прогуляться по улицам. Светлов вышел, и вот они довольно долго ходили-ходили молча. Потом Маяковский спросил: «Как вы думаете, меня посадят?» Вот это уже было незадолго до смерти. Вот что-то такое ощущалось. У него это были такие стихи о Маяковском, строчки я только помню, я не знаю, сейчас они печатаются или нет, там, много чего происходит с наследием советских классиков: «Дали нам обоим по шапке, / дорогой Лев Давыдович». У Безыменского были стихи «Шапка», посвященные Троцкому. И когда Троцкого сперва сослали, в Алма-Ату, по-моему, в двадцать седьмом году, многие писатели, ну, и многие военачальники, что их погубило, они были, конечно, сторонниками не Сталина, а Троцкого. Просто потому что вокруг Троцкого был такой ореол – создатель Красной Армии, победитель в гражданской войне. А кто был Сталин? Партийный чиновник, который читал по бумажке доклады на всяких съездах и пленумах на плохом русском языке. И им *его* уважать в общем-то было не за что. Хотя, когда уже стали сажать, уже тогда всё менялось, и тогда даже в знаменитом романе Алексея Толстого «Хлеб», опять мне попался как-то первый вариант. И там было написано, значит, вот заседание Политбюро идет, и какой-то из, ну, сидевших за столом президиума, написал записочку, написано: худощавый в очках написал записочку и передал Ленину. Ленин прочел, там, усмехнулся, написал ответ и передал назад. То есть это Свердлов явно. А в последующих изданиях романа уже писал какой-то черноусый. Записочка осталась, но уже Ленин переписывался с каким-то черноусым. То есть история со страшной силой редактировалась. И когда вот эта сталинская камарилья захватила власть в партии, и когда были отодвинуты, а потом уничтожены все вот эти ближайшие сподвижники Ленина, естественно, что писатели, военачальники переживали очень тяжелое время, и в огромном количестве просто были уничтожены.

Б-О: Леонид Аронович, я хотела вас вот о чем спросить.

Ж: Да?

Б-О: Вы принадлежите к поколению детей вот тридцатых годов.

Ж: Да.

Б-О: Люди самые разные тогда рождались, но при всем при этом вы производите впечатление такого тотального или, ну, то есть другого, вы не в какой-то не в группе, вы сами по себе, человек, который сам по себе. Вы чувствуете вот родство со своим поколением? Вот что все вы одной группы крови?

Ж: Еще какое родство! Я типичный шестидесятник. Я сейчас книжку написал о поэтах-шестидесятниках. Я считаю, что это великое поколение. Но у меня тут принцип такой: я писал о своих друзьях, я писал о тех, с кем я был на «ты», о других не писал. Скажем, о Бродском я не писал, потому что я с ним не был лично знаком, хотя это замечательный поэт, я его очень люблю, очень уважаю. Но я там писал об Окуджаве, о Евтушенко, о Рождественском, о Вознесенском, о Бэллочке Ахмадулиной, о Римме Казаковой, о Толе Жигулине, но это всё вот были мои друзья. Володя Соколов, великолепный поэт, Володя Корнилов. Это всё мы не просто были одним поколением, мы были… Ну, в основном, нас связывали либо дружеские, либо очень тесные приятельские отношения. Мы помогали друг другу. Например, кто были мои читатели? Ну, скажем, я вот написал роман «Остановиться, оглянуться…». Его не печатали шесть или семь лет, но у меня была читательская аудитория: этот роман читали Роберт, Женя, там, Римка, Сашка Аронов, еще, в общем, какие-то мои друзья. И это была самая лучшая читательская аудитория, потому что критерии были очень высокие. Вот главное для меня было, чтобы они одобрили. И они, кстати, точно так же поступали. И, скажем, стихи молодого Евтушенко я в основном, ну, практически все запомнил с чтения. Написав новое стихотворение, он иногда читал мне его по телефону, иногда читал где-то в коридоре Литинститута, иногда просто звонил и говорил: «Слушай, приезжай ко мне. Если есть деньги, купи, там, бутылку светлого вина». И читал какой-то новый цикл. Вот так это было. Понимаете? Скажем, лучшие, замечательные стихи Володи Соколова – это просто современная классика – я тоже запоминал с его чтения, потому что печаталось все это с большим опозданием после того, как было написано. Понимаете? А вот ко мне это все выходило вовремя, и я вот рос, вот я дышал воздухом этой очень большой поэзии. Мне очень повезло в этом смысле.

Б-О: А когда появился вот Театр на Таганке, ставили там вот эти поэтические спектакли, вы как-то общались вот с Вознесенским, с Любимовым, с Высоцким?

Ж: Ну, с Высоцким – это особая статья. С Высоцким я первый раз познакомился, ну просто так, точнее, познакомился, когда ему было года двадцать три, наверное, еще. Был день рождения у Гарика Кохановского, ну такой есть поэт – Игорь Кохановский. Неплохой поэт, у которого когда-то была вот знаменитая песня «Бабье лето». Стихи Высоцкого «Мой друг уехал в Магадан, /Снимите шляпу, снимите шляпу. Уехал сам, уехал сам, / не по этапу, не по этапу» - это как раз про Кохановского. Они были школьные друзья, сидели за одной партой. И вот как я попал на этот день рождения. Мой друг, Вадим Черняк, замечательный, кстати, поэт, великолепный поэт, один из героев одной моей книжки. Его очень мало знают, но он заслуживает того, чтобы его знали. Он мне сказал как-то: «Давай вот поедем на день рождения к Гарику Кохановскому», - «Ну, давай, поедем». А тогда это все было очень просто. Мы были люди практически все одного поколения: друг моего друга мой друг - всё. Вот так вот было.

Приехали туда. Там был Володя. Была гитара. Ну, там, выпили, закусили, и потом Володя спел тогда подряд песен двадцать, наверное. Песни были разные.

Б-О: А вы до этого его уже знали, да?

Ж: Нет, до этого я знал только какие-то его песни, но, к моему стыду, я его не очень ценил. Ну, казалось, так, что это что-то полублатное такое. И там меня совершенно поразила одна его песня: «Сегодня я с большой охотою / распоряжусь своей субботою, / а если Нинка не капризная, / распоряжусь своею жизнью я». Замечательная песня, она меня буквально пронзила, я подумал: «Вот это современные Ромео и Джульетта» наших дворов, этих загаженных наших дворов. Да, там: «Она…» … сейчас… «Она храпит, она же грязная, / и глаз подбит, и ноги разные, / всегда одета, как уборщица. / Плевать на это, очень хочется». Вот эта вот, понимаете, песня – я впервые понял, что это действительно большой поэт, Володя. Хотя, к моему стыду, до его смерти я его масштаб не понимал. Потом я с ним уже так тесно общался. Да, тогда вот на этом дне рождения, помню, когда, ну, закуски, естественно было мало тогда, и денег ни у кого не было, выпили всю водку, и Володя с шапкой, зимней шапкой, причем это зима была, обошел круг, и все свои рубли туда кидали, у кого были эти рубли, или трёшки, я уж не помню. И кто-то отправился, значит, еще за добавкой. А потом, когда в Одессе Кира Муратова снимала фильм по моему рассказу «Короткие встречи», Володя там играл главную роль. Причем попал он туда случайно.

Б-О: А вы расскажите вообще историю вот эту, это же потрясающий фильм, один из моих любимых, «Короткие встречи», какой-то фильм-нюанс, какой-то настолько тонкий. Мне кажется, Кира Муратова, там она же тоже там играет?

Ж: Да. Там, да, играет.

Б-О: И я вот практически помню каждый кадр этого фильма, удивительный фильм. Вот вы расскажите, как, когда вы написали эти «Короткие встречи», как встретились с Кирой Муратовой и как вообще все это вот было в кино?

Ж: Мы встретились…

Б-О: Первый был сценарий?

Ж: Первый, да. Я писал тогда рассказы, меня не печатали, есть было нечего. Что-то я куда-то носил какие-то рассказы, их, в основном, возвращали. Но рассказ «Дом в степи» где-то напечатали все-таки, я уж не помню где. И вдруг мне приходит письмо из Одессы от Киры Муратовой.

Б-О: А она уже тогда была Кира Муратова?

Ж: Нет. Она была тогда автором половины фильма. Был какой-то фильм о председателе колхоза, который она снимала вместе со своим мужем Сашей Муратовым. Она уже знала тогда, что она Муратова, но я-то этого не знал. Приходит из Одессы такое письмо: вот я хотела бы снимать фильм по вашему рассказу, вот не могли бы вы продать право на экранизацию. Конечно, мог, лишь бы что-то заплатили. Следующее письмо: но я хочу, чтобы мы вместе написали сценарий. Нет проблем.

Вот я приезжаю в Одессу, заключаем договор, получаю я какой-то аванс, и начинаем мы с Кирой работать над сценарием. Работали мы очень смешно. Я был там с моей первой женой, в Одессе, мы жили в гостинице «Аркадия». Вот каждое утро то ли на автобусе, то ли на троллейбусе, по-моему, мы приезжали на студию. Это было близко, семь-восемь минут от «Аркадии», которая стояла вблизи моря. Приходили к Кире, Кира кормила нас салатом из помидоров, и мы начинали работать. Начинали что-то писать, потом возникали творческие противоречия, потом начинали интеллигентно ругаться, потом решали, что надо, чтобы нам не поссориться, давайте на сегодня, там, лучше попьем чая, а завтра продолжим. Почему были у нас такие разногласия? Дело в том, что у меня рассказ был типично мужской, где герой сильный парень, геолог и так далее. А Кира порывалась сделать фильм женский, где главная роль – женщина, женская, и женщина сильная, ну, а герой такой вяловятый. И она пригласила на главную мужскую роль, ну, тогдашнего приятеля, которого я всегда любил как актера и до сих пор люблю, ну, так у нас не сложилось – Слава Любшин.

Б-О: Он прекрасный актер.

Ж: Прекрасный актер. А сценарий вообще проходил очень тяжело, не хотели его запускать. И я помню в этом, в Комитете по кино…

Б-О: А персонажи все были вами придуманы? Герои, или вы вместе сочиняли?

Ж: Нет. Дело в том, что там были мои персонажи плюс вторая часть, когда после этого романа беглого с этим геологом эта девушка идет в город искать этого геолога…

Б-О: Это все у вас было, да?

Ж: Нет, этого не было, это уже Кира придумала. И она попадает в качестве домработницы в квартиру женщины, которая работает в горсовете, там, занимается водоснабжением города и так далее, и так далее, а это было больное место в Одессе, там не было воды. Воду давали там на два, на три часа в день. И еще тогда помню, утром, днем, значит, какой-то там сигнал, то ли звонок, то ли гудок, и все кидаются во двор: приехала мусорка, и все туда кидают мусор. И вот с этой женщиной, главной героиней, у нее есть любовник – вот этот геолог. И вот получается: эта женщина, геолог – такой треугольник – и вот эта вот девочка, которая туда попала. И там получилось так: девочку она нашла, по-моему, во ВГИКе…

Б-О: Нина Русланова.

Ж: Да, третьекурсница Нина Русланова, сама детдомовка, ну, очень подходила для этого. Очень забавная, наивная девчонка тогда, я помню. Хороший была человек она. Но и она, и я – мы совершенно не понимали, что снимает Кира. Потому что Кира – очень своеобразный режиссер, она никогда не может объяснить,…

Б-О: …Она снимает чувства.

Ж: …что она снимает.

Б-О: …А объяснить чувства даже писатели…считаю, был только один Бунин, …

Ж: Да.

Б-О: …который умел это делать, а остальные – никому это не удавалось. А она вот в кино, мне кажется, единственная, которая снимает чувства, и люди, которые на одну волну с ней попадают, те ее понимают, а те, которые не попадают, те вообще ее не понимают, о чем идет речь.

Ж: Я знаю, что поначалу вообще ее никто не понимает. Потому что я помню: вот, скажем, какой-то съемочный день. Сидит Кира на стульчике, и чуть поодаль на стульчике сиди ее муж. Они уже разошлись к тому времени с Сашей, но оставались какие-то дружеские отношения, ну он ей помогал. И вот Нина Русланова, девятнадцатилетняя студенточка, стоит на подоконнике, вот она моет стекло. И вот там что-то разговаривают, шумят. Саша кричит: «Прекратите шум в студии!», - там, ля-ля-ля. Замолкают. Кира так вяло говорит: «Так, Нина, немножко правее.» - Нина правее. «Повернись спиной». Нина ворчит: «Вот, меня всегда снимают со спины или ниже спины». Я вообще не понимаю, что происходит. И у меня было такое четкое ощущение, что фильм идет к полному провалу. И мы с Ниной Руслановой составляли такую внутреннюю оппозицию, которая заключалась в том, что мы постоянно ворчали. И я, если у меня там какие-то денежки были, какие-то пирожки покупал, конфеты, как-то Нину подкармливал немножко, и она была тоже убеждена, что ничего не получится. И только когда уже фильм был снят и сделан… Да, и Кира…

Б-О: А почему в результате оказался Высоцкий, а не Любшин?

Ж: Сейчас я скажу. Дело в том, что Любшин должен был прилетать из Москвы на съемки, и где-то там чего-то пару раз он не смог прилететь, и Кира: «Всё, нет, не будешь ты», «Будет Высоцкий», - мне она говорит. Я говорю: «Ну что Высоцкий – парень с гитарой». Она говорит: «Нет, ты не прав, это очень хороший характерный актер». Я этого не понимал и не ценил. Но это была первая серьезная драматическая роль Высоцкого в кино. Это Кира угадала его, как угадала и Нину Русланову. Я этого совершенно не понимал. Потом, был такой Евгений Данилович Сурков тогда, председатель вот этой репертуарной коллегии в кино, главный редактор, что ли, который настоял, чтобы эту даму из горсовета играла Анна Дмитриева, была тогда такая актриса на Бронной.

Б-О: А, у Эфроса, да, я помню. Прекрасная актриса.

Ж: Хорошая актриса.

Б-О: Очень хорошая.

Ж: И потом Кира поругалась и с Дмитриевой из-за чего-то, и стала играть сама. Для меня это было ощущение полного провала.

Б-О: Я не представляю, как Дмитриева могла играть эту роль. Кира была на месте, по-моему.

Ж: Но тогда все это было крайне странно. И редакторша наша, была такая, Женя ее звали, по-моему, тоже не очень верила, что что-то получится. Но вот это потому, что Кира такой режиссер. Вот она снимает так: ей важно, чтоб вот «встань чуть-чуть правее», «повернись спиной», она видит кадр. Есть режиссеры, которые прекрасно понимают, что надо сделать, и объясняют, но не видят кадра. И когда фильм был готов, я помню, а композитор был такой странный парень Олег Каравайчук, которого Кира на все свои фильмы приглашала композитором. Он талантливый и очень своеобразный человек. И вот я помню, когда уже свели, так сказать, какой-то уже вариант, отдельные сцены, и идут титры. И вот титры не так, как обычно, а они идут курсивом, как будто от руки написаны, и музыка Каравайчука. Я чувствую вдруг буквально слезы на глазах от красоты титров, то есть это полное безумие. И вот это Кира Муратова. Вот она таким образом строит свои фильмы. И она, конечно же, выдающийся режиссер, тончайший режиссер, но заранее понять, что будет на экране потом, с ней невозможно. Ей просто надо слепо верить. Ты хочешь? Давай делай - всё.

Б-О: А премьеру вы помните?

Ж: Да, помню, в Одессе.

Б-О: Расскажите, интересно.

Ж: Ну, знаете, у меня тогда не было ощущения, что это большая победа. Просто потому, что многое снимала не так, как это в сценарии было. Я там придумал какие-то диалоги, но Кира мыслит не диалогами, она киношник. Я прозаик и драматург, я мыслю словом, а она мыслит кадром. И вот она берет иногда каких-то случайных людей, берет каких-то работников киностудий в какие-то эпизоды, это получается необычайно здорово. И калибр ее как режиссера я понял, когда она сняла следующий фильм по сценарию Наташи Рязанцевой «Долгие проводы». Тогда уже я понял, что это потрясающий фильм, потому что меня не тревожила мысль, что там идет от сценария, а что идет там от режиссера. Это был замечательный фильм с гениальной работой Шарко.

И, кстати, этот фильм, естественно, положили на полку, естественно, запретили.

Б-О: «Короткие встречи»?

Ж: Да.

Б-О: А что, почему запретили? Фильм о любви, что там?

Ж: Мелкотемье. Меня всегда запрещали за мелкотемье. Любовь – это всегда была мелкая тема, а я всю жизнь писал о любви. Ну, я помню, был такой случай, у меня уже пьесы шли, позвали меня в Министерство культуры. И такая редакторша Министерства культуры, муж ее работал в ЦК, такая Валентина Сырнюк, она мне говорит: вот у нас сейчас госзаказ на, по-моему, четыре темы. Одна тема – партийная, то есть вот как-то, ну, условно, это показать каких-то партийных работников. Вторая тема – сельскохозяйственная, третья тема, помню, антикитайская и четвертая, по-моему, БАМовская. Ну, я говорю: нет, я вот сейчас пишу какую-то пьесу о любви. Она мне говорит: «Ну, понимаете, это госзаказ, это высшая ставка, это сто театров. Неужели вы не хотите, чтобы ваша пьеса шла в ста театрах?» И я от фонаря ей сразу на это говорю: «Нет, - говорю, - я хочу, чтобы моя пьеса шла в одном театре сто лет». Вот так это было.

Б-О: Ну вам потом приходилось с Кирой Муратовой встречаться, или вот этот был эпизод, и всё?

Ж: Нет, встречался с ней, но в работе там, начинали какую-то работу над новым сценарием, но что-то там не сложилось, не состоялось. Но надо сказать, что я не очень жалел, потому что, ну, я вот в литературе в достаточной мере эгоист, и сценарий это вообще не мой жанр, я никогда не любил сценарии, потому что конечный результат - то, что делает режиссер. Пьесы я очень любил. Там тоже конечный результат – то, что сделает режиссер, но поскольку мои пьесы ставили, там, и двадцать, и тридцать, и сорок режиссеров, это меня не очень тревожило – вот конечный результат вот написанной мною пьесы. Ну, я знаю, сколько лет может идти, но вот, скажем, «Последняя женщина сеньора Хуана», это о Дон Жуане…

Б-О: Это последняя ваша.

Ж: Да. Нет, она не последняя, но так она называется. Она пошла уже на четвертый десяток. Вот недавно в Калуге была очередная премьера, и мы даже с моими родственницами поехали туда. Очень хороший был спектакль. И по Европе широко шла эта пьеса, и по стране идет до сих пор, и постоянно кто-то ставит. Я не знаю, продержится сто лет или нет, но думаю, что пятьдесят лет продержится, поскольку уже тридцать с лишним лет держится, ну, и, как говорится, пока нет ощущения, что сходит. Ну вот. А сценарии я не очень любил, тем более Кира такой своеобразный, странный и смешной диктатор. То есть она очень творческий человек, она знает, чего она хочет. Но я в попытках писать сценарии никогда не мог подделываться под режиссера. Вот режиссер хочет этого, а я хочу другого, понимаете? Поэтому я прервал с ней творческую дружбу без сожаления. Вот все последующие фильмы Киры, которые я видел, я очень ее люблю вообще-то…

Б-О: А вот «Настройщик» вы видели фильм? Последний?

Ж: По-моему, видел.

Б-О: Алла Демидова там в главной роли.

Ж: Кажется, видел.

Б-О: Очень современный.

Ж: Что-то я плохо помню.

Б-О: Ну там сюжет такой: она доверилась настройщику, он ее обокрал в результате.

Ж: Я не помню. Но дело в том, что Кирины фильмы вообще, там запоминается не сюжет, а запоминаются чаще всего сцены какие-то, детали какие-то замечательные. Она хотела потом снимать фильм по моему другому рассказу, который…

Б-О: …У нее чеховский есть фильм, по чеховским рассказам, потрясающий.

Ж: Я не помню. У меня был такой рассказ «Тебе вручаю» о любви школьницы. Она хотела снимать. Но после фильма «Долгие проводы» она мне сказала… *(отвлекаясь от беседы)* Это что пищит?

Б-О: Пищит мой телефон, эсэмэска пришла.

Ж: А! Она мне сказала: «Ты знаешь, вот то, что я хотела снимать, я уже сняла в «Долгих проводах». А что это было, это очень интересно, это одна деталь. Когда там сидят молоденькие подростки, парень и девушка, перед ними там такая большая мохнатая собака, и они ее гладят вдвоем, и у них руки рядом вот в этой шерсти. Вот она хотела, чтобы в фильме по моему рассказу была такая деталь. А когда эта деталь ушла, то ушло всё. То есть она идет от такой вот неожиданной какой-то чувственной детали, Кира Муратова.

Б-О: А вы сейчас с ней не общаетесь?

Ж: Нет. Последний раз я с ней общался, когда был какой-то вечер, ее, по-моему, пятидесятилетие было в Доме кино.

Б-О: Это уже давно – пятидесятилетие.

Ж: Давно, да.

Б-О: Сейчас ей сколько уже лет? Я думаю, что семьдесят с чем-нибудь.

Ж: Давно, давно. А может быть, шестьдесят, я уже не помню. Я там выступал, Нина Русланова там выступала, ну там тогда так было.

Ну, в общем, там вот во время съемок «Коротких встреч», то у меня была такая встреча очередная с Высоцким, когда он прилетел из Москвы. Он же работал в театре, как правило, он прилетал на ночную съемку. Эта ночная съемка могла начаться, там, скажем, в три часа утра, в три часа ночи, точнее. И я как сценарист останавливался в гостинице «Аркадия», мне заказывала студия всё как надо. А Высоцкий как молодой актер – в общежитии студии, которая называлась «Куряш»(?). Был такой двухэтажный, довольно задрипанный дом, коридорная система. И вот помню, после того, как что-то мы там в буфетике чего-то перекусили, мы с Высоцким пошли гулять, и ночью часа три мы с ним ходили по Одессе, разговаривали просто. Я вот в своем этом очерке про Высоцкого, ну, написал то, что он мне тогда говорил, просто потому, что вообще считаю, что любая деталь вот этих наших великих поэтов, она важна. Я не знаю, кого из них потом признают классиками, кого не признают – это уже дело потомков. Но я считаю, что я должен рассказать то, что я про них знаю. Тем более, что время-то ушло уже.

Вот шестидесятники сейчас – уходящая натура, я один из последних шестидесятников. И когда я там написал, ну, такой очерк у меня был там о Евтушенко, о Галиче. И вот моя бывшая ученица по литературной студии Надя Ажгихина, которая сейчас секретарь Союза журналистов, она мне сказала: «Знаешь, а ты напиши вообще обо всех шестидесятниках, которых ты знал.» Но я знал-то почти всех, московских, во всяком случае, ну тех, кого я называю шестидесятниками. И вот я так стал писать-писать, и очень этим делом увлекся, и вот такая вот получилась книжка. И мне просто как-то стало грустно, когда я подумал, что могут забыть это фантастическое поколение, как сейчас даже серебряного века – ну кого мы помним там? Ну, помним, да, Пастернак, Мандельштам, Ахматова, Цветаева, такая славная четверка. Ну, вспоминаем еще иногда Гумилева.

Б-О: Ну Гумилева, конечно.

Ж: Гумилева, да. Хотя он, конечно, менее значительный поэт, он не успел состояться так, как они. А, скажем, Ходасевича мало кто помнит. Георгия Иванова уже мало кто помнит, да практически не помнят, кроме профессионалов. Иннокентий Анненский практически забыт.

Б-О: Ну почему, там Зинаида Гиппиус, Мережковский.

Ж: А вы помните хоть одну строчку Гиппиус?

Б-О: Я ее что-то… Не моё.

Ж: Вот.

Б-О: Я вот сегодня ехала, мне в голову, смешивалась Мандельштамом вот эта строчка : «Жизнь упала, как зарница, / как в стакан воды ресница», думала: «Ну вот кто сейчас так напишет?»

Ж: Никто.

Б-О: Тут такой образ! Ну как, «Жизнь упала, как зарница, / как в стакан воды ресница». Такая метафора!

Ж: Да. Да, да.

Б-О: Просто…

Ж: Фантастический поэт. Ну вот, слава богу, и спасибо Надежде Мандельштам, что она в памяти сохранила его стихи. Ведь могли вообще исчезнуть. Много могло исчезнуть. Но и, но просто забываются со временем какие-то очень крупные поэты.

Б-О: Но шестидесятники – все вкладывают разное в это, вот я не понимаю до конца, вот можно так по пальцам перечислять известных шестидесятников.

Ж: Ну посчитайте, интересно.

Б-О: Но ведь Аксенов – шестидесятник?

Ж: Конечно, безусловно. Но это прозаик. Я о прозаиках там не пишу. Аксенов – шестидесятник, безусловно, Анатолий Кузнецов, Толя Гладилин шестидесятник, не первого ряда, но шестидесятник.

Б-О: Максимов – шестидесятник? Или он позже уже?

Ж: Ну нет, он тогда же. Ну Максимов шестидесятник. Но он был чуть-чуть не из той компании.

Б-О: А Юлий Ким?

Ж: Юлий Ким? Я думаю, что шестидесятник.

Б-О: Городецкий?

Ж: Городницкий.

Б-О: А, Городницкий, да, который нрзб.и океанолог.

Ж: Конечно, шестидесятник, но он питерский шестидесятник, хотя это мой друг и замечательный поэт. Юра Казаков шестидесятник, Жора Владимов, Володя Войнович, Толя Приставкин – всё шестидесятники.

Б-О: А вы знали Казакова?

Ж: Да, конечно.

Б-О: И считаете, что он был, таким, нераскрытым писателем? Он все-таки, его признавали профессионалы, но читателей, поклонников у него было не так много. А Трифонов?

Ж: Тоже шестидесятник. Понимаете, Казаков замечательный стилист. Его рассказы рассчитаны на долгую жизнь. Я не знаю, будет ли у них долгая жизнь, но вот по качеству письма они рассчитаны на то, чтобы жить долго. А, скажем, такой же прозаик шестидесятых, тоже хороший стилист очень, Жора Семенов, Георгий Семенов, почти забыт. А Геленька(?) Валевич, замечательный стилист, прекрасный писатель, неизвестен…

Б-О: А кто придумал это вот название - их так всех называть шестидесятниками? «Оттепель» придумал Илья Эренбург.

Ж: Да. Шестидесятники, ну, в девятнадцатом веке были шестидесятники – это известно, так их и называли. А в двадцатом веке, это, по-моему, была статья Стасика Рассадина, так и называлась – «Шестидесятники».

Б-О: То есть это его изобретение?

Ж: Да, это его термин.

Б-О: Он тоже шестидесятник, вы считаете?

Ж: Вы знаете, я думаю, что…

Б-О: …А Володин?

Ж: Нет, ну он все-таки фронтовик, это другое.

Б-О: Да, он постарше немного.

Ж: Да. Понимаете, я думаю, что своей критики у шестидесятников все-таки не было. Мог бы быть Анненский, но…

Б-О: У Анненского тоже есть что-то о шестидесятниках.

Ж: Есть что-то, да, но, понимаете, он, ну, немножко сбоку. Он не понимал, я бы так сказал, он не понимал своей ответственности перед собственным именем. Поэтому он мог, например, написать какую-то статью, ну, условно говоря, там, о Юре Казакове, хотя я не уверен, что он писал о нем. Но мог написать статью о Вадиме Кожевникове, еще о ком-то там. Когда я ему говорил: «Слушай, Лёва, зачем ты пишешь об этих средних, а иногда и плохих писателях?» Он мне говорил: «Я считаю, что главное в статье – это стиль». И он же говорил там, что, когда говорят как похвалу: «Прочитав вашу статью, я захотел прочесть книжку автора», - вот это не похвала. А если когда говорят: «Прочитав вашу статью, я захотел прочитать другую вашу статью», - вот это похвала критику. И я ему сказал: «Лёва, у тебя же есть фамилия, ты должен ее ценить и за нее отвечать». Он мне ответил: «Фамилия – это проститутка, главное – это мой стиль». Ну, такая была его позиция. Он не твердый человек, поэтому я не знаю, можно ли назвать его шестидесятником. Хотя он, безусловно, талантливый человек, и из критиков этого поколения он, по-моему, он самый известный точно был и, наверное, самый одаренный.

Б-О: Вот у меня записан потрясающий критик, он, правда, постарше, ему 89 лет, Турков Андрей Михайлович.

Ж: Ой, он у нас здесь живет. Это великолепный человек.

Б-О: Я его записывала. Просто удивительный человек и потрясающий критик…

Ж: … удивительный, глубоко порядочный человек…

Б-О: …как рассказывает – это просто…

Ж: Ну он немножко другого… ну вот он, он старше был.

Б-О: Он старше, да, ему 89 лет.

Ж: И это была такая критика, ну, условно говоря, критика «Нового мира». Это вот был такой журнал.

Б-О: Он много рассказывал о Твардовском, о «Новом мире», потрясающе интересно.

Ж: Я его очень люблю и я его глубоко уважаю.

Б-О: О Блоке вот, Чехов, вообще, все, что он пишет, это…

Ж: …Но он не шестидесятник. Шестидесятники – это были люди, которые вышли на волне протеста против диктатуры. И вот в меру своих полудетских сил они подтачивали эту диктатуру, и в конце концов сломали ее, потому что и Горбачев, и Ельцин, они выросли на шестидесятниках.

Б-О: Но Гладилин, вы говорите, шестидесятник, такой твердый, непреклонный, в то же время он уехал и прекрасно себя чувствовал.

Ж: Он не прекрасно себя чувствовал, он никому там не нужен был. Он просто очень средний писатель, скажем так. Он писал очень торопливо, много, не глубоко, он просто как хронологически был шестидесятник. Ну, он не входит в эту когорту, как, скажем Войнович или Жора Владимов, это все-таки… Шестидесятники – это все-таки были, это были крупные литераторы и литераторы с именами. И до сих пор их помнят и любят, понимаете, и, в общем, как-то это… Не знаю.

Б-О: Такой тоталитарный режим, железный занавес, в то же время люди потрясающие писали. *(Смеясь)* Сейчас такая свобода – пиши, и ничего такого, но вот, там, Петрушевская иногда что-то. Она тоже, наверное, к шестидесятникам относится.

Ж: Она шестидесятница, да, относится к шестидесятникам, но она замечательный писатель, на мой взгляд, просто блестящий писатель, да. Драматург прекрасный, прозаик великолепный. Ну, Петрушевская – это, конечно, явление в литературе.

Б-О: А куда исчезла сатира? Сейчас такое сатирическое время, где Ильф и Петров? Булгаков? Эрдман? Такого уровня почему нет сатиры сейчас? Сейчас столько всяких вещей, вот даже то, что вчера происходило. Салтыкова-Щедрина бы или, там, Гоголя, можно было всё это…

Ж: Да, нету. Вы знаете, я могу понять только это вот как. В шестидесятые страна была абсолютно идеологически задавлена. Ну, раньше тем более. Не было философии, не было политэкономии, не было психологии, не было истории, не было религии, и всё это уходило в литературу, всё уходило в литературу. Скажем, не было истории Отечественной войны. История Отечественной войны – это был Бакланов, Василь Быков, Кондратьев, Твардовский, естественно, Симонов – вот это была история войны. А сейчас, пожалуйста, все это есть, есть политика, можно говорить все, что угодно. Раньше была у писателей- шестидесятников колоссальная ответственность перед словом, ну потому что знали, кто тебя прочтет и оценит. Скажем, Женя Евтушенко знал, что прочтут и оценят, ну, пятнадцать человек, дальше уже это пойдет в миллионы. Юра Казаков знал: его прочтет и высоко или низко оценит Паустовский, его учитель. А сейчас этого нету. Понимаете, вот сейчас я пишу, я не знаю, для кого я пишу. Как в колодец падает вещь, абсолютно неизвестно. Вот если спросить, ну, сейчас есть какие-то писатели, знаете, имена на плаву. Ну, там вот, Пелевин, Сорокин, но это больше имена, чем произведения. Просто потому, что каждому поколению нужны какие-то свои, ну, не знаю, лидеры, герои. И, скажем, кто сейчас крупный поэт, вы знаете?

Б-О: Тимур Кибиров.

Ж: Ну хороший поэт, но он не выделяется из ряда таких же, как он, но хороший поэт. Вот там Бахыт Кинжеев тоже хороший поэт. Дима Быков очень талантливый поэт.

Б-О: Вот что-то с Димой Быковым мне кажется, вот есть такой комплекс у него Леонардо да Винчи, что он может всё: и быть учителем школьным, …

Ж: Да.

Б-О: …и быть публицистом, и быть и там, и сям, но мне кажется, что это его в результате…

Ж: … Я согласен.

Б-О: … Вот этот его конформизм какой-то…это его…

Ж: Он бесконечно одаренный человек, невероятно одаренный.

Б-О: Но он все равно не Леонардо да Винчи.

Ж: Нет.

Б-О: У него есть комплекс вот какой-то, он хочет доказать всем, что он Леонардо да Винчи.

Ж: Пишет он талантливо. Все, что он пишет, это талантливо. Я не знаю, что он хочет доказать, но тут такая вещь.

Б-О: Вы вот читали его книгу о Пастернаке, за которую он, там, получил премию? В ЖЗЛ?

Ж: Нет. Вы читали?

Б-О: Ну, я не знаю, я вот эту серию ЖЗЛ, «Жизнь замечательных людей», читала там много, и Турков вот пишет.

Ж: Да, да.

Б-О: Там есть потрясающе написанные истории жизни многих известных людей. Но история жизни Пастернака настолько уже обмусолена со всех сторон, и Дима Быков не первый и не последний, кто про это написал. Но он как-то все-таки… некая «желтизна» там присутствует, вот в этой серии не должно этого быть, это же на века пишется.

Ж: Понимаете, в чем дело, для того, чтобы написать…

Б-О: …Ему дали премию какую-то, не знаю, миллион рублей.

Ж: Ну дали какую-то. Для того чтобы написать на двадцать процентов глубже, надо потратить в три раза больше времени и сил. И не все хотят это делать. Нет такой ответственности перед словом. Я напишу – все равно будет хорошо. Всё, что напишет Дима Быков, будет хорошо. Может быть, это не будет замечательно, но будет хорошо. И более того, сейчас Дима Быков очень успешно занимается политикой.

Б-О: Я вам про это и говорю, что он всеядный просто.

Ж: Да.

Б-О: На всех радиостанциях, на всех встречах, а это какая-то тенденция, мне кажется, все это неправильно.

Ж: Но это наш российский Бальзак. Он и внешне похож на Бальзака. Он пишет невероятно много. Знаете, я, кстати, прочел книжку о Чуковском, там автором числится жена Димы Быкова. Я не знаю, кто ее на самом деле писал, очень талантливая, очень интересная книжка. Но понимаете, вот у Димы есть очень хорошие лирические стихи. Но если так вдуматься: а вот что захочется перечитать через двадцать лет – я не знаю.

Б-О: Так вы читали его статьи о шестидесятниках?

Ж: Что-то читал.

Б-О: Вот прочтите. Вот сейчас, после того, как будет презентация вашей книги, вот вы прочтите то, что он пишет о шестидесятниках. Ну вот что он может о них знать? Вы их знали, встречались, общались. У него несколько пренебрежительное какое-то отношение к этим людям.

Ж: Ну, может быть, потому что его поколение обязано свергать шестидесятников, просто их обязанность. Как, скажем, Маяковский обязан был свергать, там, скажем, ну, Пушкина, там. Без этого нельзя. Но когда я думаю: а кто из наших писателей следующим получит Нобелевскую премию? Я думаю, что кандидат номер один – это Дима Быков. Лет через тридцать. У него уже есть какая-то политическая репутация в мире, он талантлив, он много пишет, он как-то поддерживает интерес к себе. Понимаете, я говорил многократно, публично говорил, там, по телевидению, по радио, что наше преступление – что мы не выдвигаем Женю Евтушенко на Нобелевскую премию.

Б-О: Пока он жив.

Ж: Пока он жив. Это кандидат номер один, это огромная величина. Ну, что делать? Писатели-патриоты пытаются выдвинуть кого-то своего, хотя это безнадежно.

Б-О: Вот сейчас вспомнила, что хотела вас спросить, что русские умы лучшие, Пушкин, основатель «Литературной газеты», писал: «Никакая власть, никакое правление не может устоять против разрушительного действия типографского снаряда. Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладевать вами совершенно». Это Пушкин написал. Вот было время, когда шестидесятники все-таки овладели умами людей, и…

Ж: … Овладели, да.

Б-О: А сейчас писатели, вот судя по тому, какая вчера была встреча, сколько было народу, но из них узнаваемы были, там, один или два писателя. А раньше тех же шестидесятников знали в лицо.

Ж: Ну конечно.

Б-О: Они выступали на стадионах, в театре у Любимова, там вот Вознесенский часто был на премьерах, и просто…

Ж: Правильно.

Б-О: И Белла Ахмадулина, которую все знали.

Ж: Правильно, да. Но это были великие поэты. А сейчас вот эти вот середняки, которые там собрались, сколько – семьсот, восемьсот в зале, но их никто не знает, у них нет имен, у них нет лиц. Ну, пытаются раздуть какие-то имена, может быть, они что-то и сделают со временем. Ну, скажем вот, мой любимый телеканал «Дождь» без конца, там, цитирует такую поэтессу – Вера Полозкова.

Б-О: Да, да, каким-то голосом таким заунывным читает.

Ж: Да, да. И жена Роберта Рождественского меня спрашивает: «Слушай, а почему они раздувают такую среднюю поэтессу?» Я говорю: «А кого раздувать?» Ну, кто вот еще есть? Кто сейчас есть? Но кто-то нужен, ну как, например, в Голливуде, там есть четкое такое определение: Голливуд обязан зажигать новые звезды. Надо время от времени рождать новых кумиров, типа, там, Ди Каприо. Я не уверен, что он великий актер, совсем не уверен. Но чтобы люди ходили в кино, чтобы смотрели, чтобы во всем мире продавались эти фильмы, нужны звезды. У нас сейчас в литературе звезд нету. И вот пытаются как-то эти звезды искусственно создать.

Б-О: Нет, но вот женщины-писательницы, которые пишут детективы, и тиражи, и все полки в библиотеках, не буду называть фамилий, итак вам известны.

Ж: Ну известны.

Б-О: И вдруг вот появилась Людмила Улицкая…

Ж: Да.

Б-О: …которая тоже была биологом, неожиданно стала писателем…

Ж: Да, да-да. Ну, я ее знаю хорошо, я с ней в одном доме живу даже. Вот эта, одна из последних ее книг, вот «Священный мусор», которую она написала, это… Вы читали?

Ж: Нет.

Б-О: Это книга-воспоминание о тех людях, которых она встречала в жизни, она почти документальная. Там фамилии настоящие, имена настоящие, ситуации настоящие.

Ж: Нет, я не читал.

Б-О: И о том, что действительно сейчас вдруг стало ценным. Вот священный мусор - *что* это для нее.

Ж: Ну да.

Б-О: Что раньше, там, люди, начинается ремонт, и какая-то мода, выбрасывают старую мебель, старые фотографии…

Ж: Да, правильно.

Б-О: …какие-то эти… Вот у меня долго хранился от бабушки какой-то платочек вышитый, это он мне давно попался, какой-то этот платок, вот сейчас я думаю: «Боже, как я могла выбросить этот платок!»…

Ж: Да, да. Ну сейчас книги старые прекрасные выбрасывают.

Б-О: Просто старый застиранный платочек, вот сейчас бы я его доставала и думала, что вот это бабушка своими руками подарила мне этот платочек вышитый.

Ж: Да, да, правильно. Вот мои дети, старшая дочка почти выбросила, посмотрите, вот этот шкаф, в углу стоит. Для меня это память о матери, об отце, потому что я с детства его помню. Этот шкаф на балкон выставили, он там стоял под снегом, под дождем. Я потом заплатил какие-то деньги, чтоб его отреставрировали. Для меня это безумно дорогая вещь, память о родителях. Сейчас не делают такие шкафы, да никому они и не нужны.

Б-О: Вот Улицкая как раз пишет о том, что такое священный мусор. Вот само словосочетание, как-то называется это – оксюморон, по-моему, когда два слова «священный» и «мусор», они не должны сочетаться.

Ж: Да-да-да.

Б-О: И вдруг проснулась тяга у всех вот писать свои родословные, вспоминать своих родственников. Вот почему именно сейчас это возникло? Хотя вот наш Дувакин этим занимался еще давным-давно.

Ж: Понимаете, я думаю, дело вот в чем.

Б-О: Для людей это важно стало, вспоминать, кем были их родители, дедушки, бабушки, прадедушки, какой был дом там, какая была семья.

Ж: Понимаете, вот это политически достаточно бездарное семидесятилетие…

Б-О: … Вытравило всё.

Ж: Вытравило, и люди стараются вот эти два куска истории как-то опять соединить. Хотя доходит до глупости, до анекдота. Ну, когда, скажем, сейчас без всякого почтения относятся, скажем, к классике девятнадцатого века, даже говорят: вот это, там, сейчас не актуально. Тургенев, там, не актуален, Чехов не очень актуален. Вот Достоевский актуален, из-за «Бесов».

Б-О: А Лесков написал потрясающую вещь «На ножах». Анненский, кстати, написал предисловие. Но это современная вещь, какие там «Бесы» Достоевского, уже позже были написаны…

Ж: …Лесков вообще замечательный писатель.

Б-О: …Это наши персонажи, все вот, которые сейчас мы видим, все Навальные, Удальцовы – все они там описаны у Лескова были. Это потрясающий писатель, но люди, которые сейчас ведь пишут, они, у них у всех какой-то, они все Леонардо да Винчи, такая вот у них самооценка, что они все великие и все знаменитые, все лауреаты, там. А Лесков вот жил, был очень скромный писатель, никогда не знал, что его через сто лет будут читать.

Ж: Лесков был великий писатель. Его Горький, кстати, очень высоко ценил. Понимаете, в чем дело. Я думаю, что Платонов – это прямой продолжатель Лескова по мастерству языковому. Ну, не в этом даже дело. Сейчас литература тусовочная. Вот есть тут своя тусовка, там своя тусовка, у каждой тусовки свои премии. Вот, скажем, те, кто выставляется на Букеровскую премию…

Б-О: … тем «Большую книгу» уже не…

Ж: Нет. «Большая книга» – там своя команда. А там еще где-то своя команда. Мне вот, например, Володя Войнович несколько раз говорил: «Ну выставься ты на премию «Пенне». Я думаю: «А на хрена это мне это нужно?»

Б-О: Вот, кстати, а как вы к премиям относитесь?

Ж: Я их мало уважаю, потому что я знаю, как это делается. Это все делается руками человеческими. И очень часто достаточно сказать, там, двум-трем людям: «Ребята, ну почему у меня нет до сих пор какой-то премии?» Люди добрые, постараются. Как один поэт однажды, мне Римка Казакова, когда она была первым секретарем нашего Союза, сказала: «Ты знаешь, вот этот вот хочет, чтобы мы его выдвинули на звание «Героя России»». Я пожал плечами, говорю: «Давай выдвинем, ну раз ему хочется. Ну, нам-то что от этого? Ни тепло, ни холодно, ну пускай человек будет «Героем России»». Ну не получилось тогда, а могло бы получиться.

Б-О: Мы вообще так далеко уже ушли от вашей жизни. Я предлагаю все-таки вернуться.

Ж: Вернуться, давайте.

Б-О: А первая любовь, первая женитьба? Это же важно всё, рождение ребенка.

Ж: Первая любовь была рано, в школе. Потом, первая любовь, как положено, была несчастной, мне было четырнадцать лет. Ну, потом я для себя формулировал так: «Я хочу узнать, какова жизнь на самом деле», пошел на такой длительный период всякого рода романов, которые, в основном, увеличивали количество, а на качество вообще мало внимания обращал. Было хорошее качество, было не очень хорошее качество – какая разница. И это длилось, я, конечно, ничего не записывал, потому что тогда это было чревато всякими неприятностями, там, из комсомола могли выгнать, из института могли выгнать, всё держал в памяти. И вот помню, как-то, я время от времени перебирал в памяти, восстанавливал вот этот список, я помню, что у меня в списке было на данный момент пятьдесят одно женское имя.

Б-О: Как у Пушкина почти.

Ж: Да. Но я был тогда значительно моложе, чем был Пушкин к концу жизни. Я стал вспоминать, и я вспомнил пятьдесят имен, а одно не вспомнил, и вот где-то потерял в этом списке. Но тем более Пушкин вписывал туда всех женщин, ну, которых он любил, они нравились ему, не обязательно, что, так сказать, доходило, доходил этот роман до логического конца, не обязательно. У меня в этом смысле все было очень добросовестно – список одержанных побед. И я вдруг задумался: «Ну, я вроде свой план-то по количеству выполнил, может быть, стоит подумать о качестве?» И с тех пор я перестал гнаться за количеством и перестал запоминать все имена. И уже старался, так сказать, стал понимать, что четыре-пять романов в год – это вполне нормально, что не обязательно их должно быть, там, пятнадцать.

И тогда же мне захотелось написать пьесу о Дон Жуане, просто чтобы понять вот это вот явление. Понять, почему именно Дон Жуан – самый популярный и самый любимый герой литературный в истории. Никто с ним не может сравниться, никто. И вот я начал даже писать пьесу о Дон Жуане, написал первый акт и остановился. И дальше не писал, чего-то не хватало. Потом где-то этот у меня черновик затерялся, и спустя много лет, тогда мне было лет двадцать пять, когда я начал писать, может, двадцать три, уже в пятьдесят лет, испугавшись, что я так и не успею написать, когда мне было пятьдесят, я написал пьесу о Дон Жуане. И, на мой взгляд, это лучшее, что я написал, хотя после того, как я закончил эту пьесу, я в чем-то потерял стимул для дальнейшего творчества литературного. Вот такое ощущение, что главную свою задачу жизненную я выполнил. Вы не знаете эту пьесу, да?

Б-О: Нет.

Ж: Надо будет вам ее где-нибудь найти и подарить. Но она, правда, есть в Интернете. Не я ее туда, не выкладываю, я даже не знаю, как выкладывают туда литературные произведения, но в Интернете полно моих каких-то книг, статей.

Б-О: Нет, я читала многие статьи, читала «Остановиться, оглянуться…» , этот ваш роман; про любовь, то, что вы написали последнее.

Ж: Ну если сможете, найдите в Интернете, просто наберите «Последняя женщина сеньора Хуана», там где-то выскочит. Если прочтете, я буду рад. Это не очень длинная вещь, ну, страниц шестьдесят, наверное.

Б-О: Когда вы женились, в каком году, в первый раз?

Ж: Первый раз, ну, роман начался, мне было двадцать семь лет, а девочке было пятнадцать лет, разница была двенадцать лет. Сейчас я посчитаю, когда же это, в каком возрасте. Ну, считайте, моей дочке сейчас сорок шесть лет, значит, мне было, она родилась, когда мне было тридцать три или тридцать четыре года, тридцать три года было. А я женился как раз, когда жена была уже где-то на седьмом месяце, вот так примерно.

Б-О: Она была, сколько ей лет было?

Ж: Опять надо считать. Ну, если мне было тридцать три, значит, ей был двадцать один. У нас была разница то ли в двенадцать, то ли в тринадцать лет. Ну, вот такая вот вещь была. Ну, дальше уже как-то пошло-пошло-пошло. Но что я заметил, что, когда официально регистрируешь отношения, они никогда не становятся лучше, они становятся всегда хуже. И вот, к сожалению, несколько раз я регистрировал эти отношения, они потом обрывались. Может быть, иначе не оборвались бы. Я даже где-то писал, что я очень высоко ценю вообще семью, и я считаю, что людей надо привязать друг к другу самым прочным канатом, а самый прочный канат – это свобода. Пока есть свободные отношения, то люди очень друг другом дорожат. А когда есть эти штампы, когда вмешивается государство, вообще вмешательство государства никогда не приводит ни к чему хорошему. И здесь так получается: уже вроде всё достигнуто, добились. И потом, когда становится хуже, то люди возмущаются: да как! Да вот уже, смотрите, штамп есть, всё, законно – ни черта не держит, не держит это людей.

Б-О: А вас ведет что-то? Вы прислушиваетесь к внутреннему камертону какому-то…

Ж: Всегда.

Б-О: … когда начинаете общаться с женщинами вот?

Ж: А я ни к чему другому не прислушиваюсь, только к внутреннему камертону. Только так, не более того.

Б-О: А то, что вот на вас телевидение набросилось со страшной силой, что вы женились на этой…

Ж: Последней жене?

Б-О: Да. И просто терзали вас.

Ж: Просто терзали, да.

Б-О: И это везде…

Ж: Понимаете, почему я на это дело вёлся, и шел, и говорил про это, я понимал, что миллионы людей в стране страдают от того, что они, так сказать, неформатные, понимаете? Либо он старше, либо она старше, либо разные социальные слои какие-то. Ну, в общем, короче говоря, есть правильный брак, вернее, есть правильные отношения, есть неправильные. Так вот я просто пытался доказать, что все правильно, что есть, что нельзя загонять человеческие отношения ни в какие рамки, они от этого страдают. Я всегда выступал против морали, кстати. Я всегда считал, что мораль – это подлая придумка власть имущих, на них никогда мораль не распространялась. Мораль – то, что верхушка придумала для быдла. Вот даже почему, там, нерушимость семьи, там, и все прочее, законы даже наши – для того, чтобы государство не было вынуждено о ком-то заботиться. Вот дети есть – родители заботьтесь, разошлись – все равно заботьтесь. Умерли родители – заботьтесь дедушка с бабушкой, братья-сестры, а также другие родственники. То есть на кого угодно возложить эту материальную заботу, только не на власть, потому что власть заботится о себе, им деньги нужны на себя. Вот такая вот вещь. И когда вот была эта травля матерей-одиночек, я же впервые написал, у меня была такая, нрзб. знаменитая статья «Любовь и демография» в Литгазете, я впервые написал, что не матери-одиночки находятся на иждивении у государства, а государство находится на иждивении у матерей-одиночек, что треть детей рождается вне брака. И государство тогда платило, знаете, сколько одиноким матерям? Пять рублей в месяц, и то они решили, что это слишком много. Я говорил, что государство вспоминает об этих детях, когда надо призывать в армию. Вот тогда они говорят: «Выполняй свой долг перед государством». Почему должны выполнять долг перед государством, когда государство ничего не сделало для них? Кроме этих жалких пяти рублей. Ну, после моей статьи там, слава богу,…

Б-О: … прибавили.

Ж: Прибавили, стали платить 25 рублей.

Б-О: Много.

Ж: Ну, по тем временам казалось, что что-то хотя бы.

Б-О: Да.

Ж: Но самое главное, что морально кое-что изменилось, что перестали говорить, что это какие-то непорядочные женщины, там. Ну, тогда же как было.

Б-О: Вы атеист, да? Кто?

Ж: Я не могу сказать, что я атеист.

Б-О: Смотрела название вашей книжки про атеистов.

Ж: «Молитва атеистов».

Б-О: Да.

Ж: Я не могу сказать, что я атеист, я не церковный человек, но я верю, что наш мир кем-то создан, потому что он уж слишком разумен и слишком здорово организован. Я не верю… Вот у меня есть такая приятельница Женя Крылова, она атеистка, она все время говорит: «Это природа создала». Я говорю: «Вот как ты представляешь себе, вот есть такой мешок, куда все металлы, значит, насыпаны какие-то атомы, молекулы, и вот если его долго трясти, там, пять миллионов лет, то получится потом Эйнштейн?» Не верю я в это. И чем глубже люди влезают в природу, то, скажем, генетический код – ну как это может получиться стихийно? Я этого не могу представить, для меня более, ну, что ли разумно, более оправданно считать, что некий высший разум так это все организовал. Что, как, я не знаю и не думаю, что в ближайшие годы и даже десятилетия люди это узнают. И более того, у меня даже такая статья есть, не помню, в какой книжке, «Верующий, но не церковный», где я пишу о том, что даже я могу логически объяснить даже то, что бог создал человека по своему образу и подобию. Но мы же тоже хотим, чтобы наши дети были похожи на нас. Но если есть какой-то бог, наверное, мы похожи на него. То есть очень многое мне кажется разумным, и даже в Библии, мне кажется, очень многое достоверно. Хотя в то же время я в церковь не хожу и даже нынешнюю нашу церковь очень мало уважаю. Потому что церковь, которая отправляет за сорокасекундный танец девчонок в тюрягу на два года, для меня это не христианская церковь.

Б-О: Но это же не церковь отправила, а судья. Церковные же люди, священники многие говорили. Что надо все простить и вообще это не…

Ж: А что говорил патриарх?

Б-О: А что он говорил, кстати, я не знаю?

Ж: Ну, они должны нести наказание. Либо пускай отрекутся, пускай попросят прощения, тогда мы, может быть, за них заступимся. Или этот самый Всеволод Чаплин, толстомордый, который говорил, что должно быть суровое наказание, чтоб неповадно было.

Б-О: Но это не по-христиански. Это все не по-христиански – наказывать…

Ж: Мне кажется, церковь сегодня вообще не христианская. Есть какие-то отдельные священники, которых, кстати, либо убивают, как, там, Александра Меня, либо, там, отстраняют как-то. Ну, что поделать, вот так вот. Мы знаем, что церковь когда-то вплотную работала с КГБ, да.

Б-О: С КГБ, да.

Ж: Да. И я не верю, что многое с тех пор изменилось, многое не изменилось. И когда сейчас власть, не зная, что им делать и чем заменить…

Б-О: …идеологию…

Ж: …коммунистическую идеологию, да, они решили, что церковь все-таки будет чем-то вроде духовной полиции. Но полицию люди не любят. В конце концов та же католическая церковь, она независима. Та же протестантская церковь независима. У нас она срослась с государством. Я не помню случая, чтобы церковь выступила в защиту человека против государства, не было такого. Отдельные священники – да. Ну, скажем, отец Александр Борисов, он был даже в комиссии по помилованию, в этой приставкинской комиссии.

Б-О: Сейчас ее нет уже, да? Этой комиссии?

Ж: Нет. Нет комиссии, это все отдали чиновникам. Ну понятно, потому что та комиссия взяток не брала. А это отдали, теперь в областях свои комиссии. Ну, как они там, кого они милуют, кого казнят, это… Даже не хочу думать об этом.

Б-О: Леонид Аронович, всегда есть необратимые решения, развилки, после которых нельзя повернуть назад. Вот есть у вас что-то такое?

Ж: Ну конечно, есть. Ну, было мне, повезло, когда в институтские годы я подружился, вот, с этими людьми, ну которых сейчас называют шестидесятники. Это все были мои ровесники. Тот же Роберт, тот же Женя, тот же Вовка Соколов, который был постарше. Это было необратимо. То есть каждый из нас не мог поступить непорядочно, не потому, что он боялся власти или общественного мнения, а вот этот дружеский круг: вот друзья иначе не могут поступить. Для меня это было необратимо. И так это шло всю жизнь.

Б-О: А вы им давали читать свою новую книжку? Вот Евтушенко и тому, кто сейчас есть?

Ж: Нет, никому не давал, нет. Во-первых, в живых остался только Евтушенко, но он сейчас находится в Америке, он болен сейчас. А потом, видите ли, в чем дело, даже такая цензура меня не устраивает, как меня не устраивала никакая цензура. Вот выйдет книжка, он прочтет. Но, правда, очерк о нем печатался, он его, как мне передавали, он его прочел. И даже в какую-то книжку свою, что ли, он его вставил, практически целиком. Ну, это, ну как вам сказать, понравится-не понравится, я же ничего не изменю. Это моя точка зрения, это мой взгляд, и стихи по моему выбору. У меня даже там раздел, ну, после каждого моего очерка, или эссе, точнее, есть такой раздел, называется «Мой выбор», где те стихи, которые я особенно люблю, вот я их там вставил. Есть другие хорошие, но это уже будет чей-то другой выбор.

Б-О: За свою довольно долгую жизнь вы пережили мировую войну, оттепель, застой, перестройку. Чем кончится теперешний этап истории – ваши прогнозы?

Ж: Я думаю, что какое-то время, может быть, даже не короткое, будет такая, болотная жизнь. Вот сейчас общественная жизнь – это болото.

Б-О: Болотная в смысле на Болотной?

Ж: Нет.

Б-О: Или болотная… *(смеется)* - это болото?

Ж: Настоящее болото находится на Поклонной горе, там собиралось «болото». А на Болотную площадь как раз выходили люди, которые хотят что-то изменить…

Б-О: Хотят, но не могут.

Ж: Не только не могут, у них даже нет какой-то четкой программы. Причем я знаю, какой в России может быть поворот к лучшему.

Б-О: Какой?

Ж: Это только резкий правый поворот. Только. Рыночная экономика, либеральная идеология, свобода. Иначе страна, ну, она не погибнет, но превратится в очередное болото.

Б-О: Вот недавно у Соловьева был «Поединок», там был Проханов и Гозман противостоял. И вы видели, как народ голосовал? То есть Проханов был в таком выигрыше, что… Вы говорите…

Ж: Ну, я никогда…

Б-О: … Он тоже, кстати, шестидесятник.

Ж: Он никакой не шестидесятник.

Б-О: Нет?

Ж: Нет. Среди шестидесятников не было ни лакеев власти, ни доносчиков. Не было, категорически. Шестидесятники – это понятие нравственное.

Б-О: Не возрастное.

Ж: Не возрастное. Он никогда не принадлежал к шестидесятникам. У него была другая компания. Его компания – это вот всякие там представители власти. Причем он сперва был таким либеральным мальчиком, но постепенно он понял, что здесь, ну, свою личную жизнь не устроишь. Ну, не хочу говорить – карьеру не сделаешь, хотя и это там, конечно, было. Дело в том, что шестидесятники так прочно заняли площадку: их любили, их уважали. Ну кто мог конкурировать с Женей или с Робертом по любви, по народной любви? Никто. Значит, оставалось только с ними бороться, их ниспровергать и так далее. Ну, это было понятно. Как весь девятнадцатый и половина двадцатого века кого ниспровергали? Пушкина.

Б-О: Евтушенко же тоже гимн написал и посылал его Брежневу, слова гимна. Это же факт.

Ж: Я не помню, кажется, был какой-то его вариант. Но дело в том, что гимн писали многие люди. И Римма Казакова писала, там, какой-то гимн. Но дело в том, что шестидесятники всегда, если точно говорить, вот, были настоящими патриотами своей родины. Они любили родину, а не власть. И не те подачки, которые можно было выслужить. Естественно, они хотели, чтобы у родины был достойный ее гимн. Но, как в течение многих десятилетий делалось, победил лакей, который сперва написал, там: «Нас вырастил Сталин на верность народу», потом вместо Сталина стала «партия», а потом стало «Хранимая богом родная земля». Евтушенко никогда бы ничего подобного не написал. А «в наш жестокий век» восславлять свободу, ну, власть никогда бы на уровне гимна не позволила. Пожалуйста, там в какой-нибудь малотиражной газетенке славьте свободу, не более того. А насчет голосов, которые получает Проханов, я просто знаю, как это делается.

Б-О: Ну расскажите, интересно.

Ж: Дело в том, что демократы никогда не позволят себе подлоги. Это чисто механическая вещь: ставится телефон с непонятным мне каким-то механизмом, который без конца звонит-звонит-звонит-звонит. И там приходят звонки без конца, и всё. Это как подделывать бюллетени при голосовании, так здесь еще легче это делать. И часто бывает, раньше бывало, когда, скажем, два голосования: аудитория в зале, и вот там один результат, а вот эта, так называемая, зрительская аудитория – всегда победит коммунист, всегда. Потому что если, скажем, скажут членам партии: «Звоните все как один» - все как один будут звонить. А кому может приказать тот же Гозман? Никому не прикажет. Да я уж не говорю… Вы когда-нибудь звонили по этому поводу?

Б-О: Нет, конечно.

Ж: И я никогда не звонил. А вот все эти вчерашние стукачи, обиженные тем, что их, не только тем, что их приработка лишили, но их влияния лишили, у них всё отняли. Вот эти люди сидят либо на компьютере, там, пишут всякие свои гнусности, либо звонят, чтобы победил их представитель там. Я вот абсолютно в это не верю.

Б-О: Вот раньше Дом литераторов был, ну, такое популярное место.

Ж: Да.

Б-О: Там собирались властители дум, там, самые разные люди…

Ж: … Да, правильно.

Б-О: …не только пили и ели, но и это был какой-то клуб по интересам.

Ж: Да, да, абсолютно, нрзб. это довольно престижно.

Б-О: И как сейчас?

Ж: Сейчас нет.

Б-О: Вот у вас остались какие-то воспоминания о Доме литераторов, каких-то встречах…

Ж: Конечно.

Б-О: …с кем-то, неожиданных, интересных, выдающихся, может быть?

Ж: Конечно, много, много этого было. Там были вечера какие-то, даже какие-то открытые партийные собрания, и те запоминались. Когда, например, там, ну, помню, были выборы правления Московского Союза писателей. И меньше всего голосов получали так называемые писатели-коммунисты.

Б-О: Это в какие годы?

Ж: Ну, это шестидесятые, семидесятые.

Б-О: Меньше всех?

Ж: Меньше всех. Ноя помню, вот было одно такое собрание, когда был секретарь обкома или горкома по идеологии на собрании, такой сухонький, незначительный человечек. И вдруг он встал, когда вот огласили, значит, список. И его идея была такая, что надо всех, кто вошел в список, всех принять, не важно – больше, меньше голосов, всех надо, не отсекать хвост, потому что в хвосте оказались, там, Софронов, Грибачев, вся эта шобла. Это вот он так стукнул кулаком по столу: «Мы пытаемся хорошо относиться к писателям, мы пытаемся помогать Союзу писателей, а если вы так себя ведете, то…», - ну, и так далее. И тут, я смотрю, как-то зал присмирел, и против было человек семь, в том числе мы с моим другом Женей Шатько подняли руки против, потому что в более старших возрастах страх буквально сидел в костях. Они еще помнили, как сажают.

Откуда появились шестидесятники? После двадцатого съезда кто стал кричать: "Мы хотим знать правду!»? Глупые пацаны, такие, как я, такие, как мои ровесники, потому что прекрасные писатели старшего и среднего поколения знали прекрасно: сейчас ты выкрикнешь что-то, их всех запишут, а потом начнут сажать. Никто не верил, что это надолго. А мы этого не знали просто. И мы на всех собраниях, везде мы кричали, там, что-то, то-сё. Я помню, тогда был впервые первый сборник «День поэзии», и там была моя статья, называлась «Долг поколению», о молодых поэтах. И эту статью выкинул из сборника лично секретарь ЦК по идеологии Поспелов, да. И потом меня, значит, вызвали в ЦК… (*беседа прерывается*).